

**Иван Иванович Макаров**

**Рейд «Черного жука»**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-312.4  
ББК 84-4  
И17

И17      **Иван Иванович Макаров**  
Рейд «Черного жука» / Иван Иванович Макаров – М.: Книга по Требованию,  
2012. – 74 с.

**ISBN 978-5-4241-3398-5**

Повесть Ивана Макарова "Рейд "Черного Жука"" раскрывает его представление о мире белой эмиграции, где все, даже сама жизнь, является предметом купли-продажи

**ISBN 978-5-4241-3398-5**

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012





# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*«Мы не можем отказать русскому народу в любви и в братской помощи».*

*Из воззвания папы Пия X*

«Приказываю явиться немедленно». Далее следовала подпись «ПР. Воробьев».

А что такое «ПР»? Смешное, напыщенное «ПР». А главное, каждой собаке известно это «совершенно секретное» учреждение.

Недавно я разговаривал с русским железнодорожником. В форме злой шутки я предрекал скорую гибель большевиков и, взглянувшись в него, намекнул:

— Вас взорвут изнутри наши.

Он снял треух, почесал одним пальцем у себя за ухом и, снисходительно улыбаясь, отпарировал:

— Уж не «Пы-Ры» ли ваша нас взорвет?

И спокойная уверенность железнодорожника снова вызывала во мне знакомый холодок страха и чувство обреченности. Теперь, когда я смотрю на подпись на телеграмме, невольная злоба зарождается во мне. Злоба на беспомощность, на эфемерность этого несчастного «ПР».

— «Приказываю... ПР... Воробьев», — выпячивая губу, произношу я. — Приказываю... немедленно... П... Р... Воробьев.

Потом озлобленно рву телеграмму. Я не признаю никаких «ПР»... «ПР» и хотя бы даже «РПР». Больше я не повинуюсь никому.

Теперь в каждом государстве есть какое-нибудь «всероссийское «ПР»... «РПР»... или вообще какая-нибудь чертовщина из трех-четырех заглавных букв.

Каждая страна держит и содержит нас, «обиженных большевиками». Даже Китай. Нам уже нет почета. В каждой ноте Советскому правительству от нас открешиваются, но, ссылаясь на что-то «международное», держат нас. Держат и содержат.

Я изорвал телеграмму и сказал, что я не повинуюсь, когда мне приказывают. Но все-таки я приехал в Харбин и остановился на Сквозной улице около почтового отделения у своего верного «личардо», у Андрея-Фиалки.

Андрей-Фиалка туляк, бывший мастеровой. Настоящая фамилия его Бровкин, но никто его так не зовет.

Высокий и хмурый, он всю жизнь мечтает насадить по всей земле «вчашую» вишневые сады и при помощи этих садов «искоренить зло на миру». Он большой ворюга, к воровству относится с презрением и радуется лишь тогда, когда уведет хорошую лошадь. Но верней его нет человека.

С ним в паре часто работает цыган Алаверды, или полностью «дядя Паша Алаверды».

Дядю Пашу Алаверды я встретил во дворе Андрея-Фиалки на «мезомима». Он был пьян, сидел среди двора, плакал и, беспрестанно ударяя себя в грудь, твердил одно и то же:

— Крест несу... Крест несу... Ой, тяжкий крест несу!

Андрей-Фиалка сидел в стороне на лавочке и, опустив между коленками свои длинные обезьяньи руки, — так что пальцы касались земли, — приговаривал,

исподлобья глядя на цыгана:

— А и дура-мама, дура... А и дура.

Заметив меня, он степенно поднялся, одернул гимнастерку и сумрачно произнес:

— Здравье желаем, ваше скородье.

Я говорю ему:

— Андрей, теперь я не «скородье», а просто так... «хозяин». Настоящий хозяин. — И со злой печалью добавляю: — Настоящий русский хозяин на китайской земле.

— А и дура-мама... третий час подряд ревет, — поворачиваясь в сторону цыгана, говорит Андрей.

Мы проходим к нему. Андрей холостяк, потому что «с бабами никакого сладу».

— Вызвали, — сообщаю я ему, так и не дождавшись вопроса. — «ПР» Воробьев приказывает немедленно явиться.

— Какая болячка приспела? — спрашивает он. Спрашивает лениво, нехотя. Видно, что ему совсем неинтересно, какая именно «болячка приспела».

— Видно, за зимнее... Тебя не трогают?

— Зимнее? — не спеша тянет он и изумленно вскрикивает: — Дык кому же ж нужно это зимнее? Вша, дура-мама, а не дело.

Мне становится страшно оттого, что на это «зимнее» он реагирует с такой легкостью.

Случилось это в январе. За месяц до этого мы угнали на китайскую территорию две тысячи овец у советского пограничного совхоза.

Мы — это я, Андрей-Фиалка, дядя Паша Алаверды и два пастуха-монгола.

Кражा прошла благополучно, потому что ей покровительствовала не только «ПР», но кто-то более могущественный. Овец продали английской «Хладобойне», и мы получили от «ПР» русскими деньгами по 50 копеек за голову. Мы выполнили это как «задание», в счет гарантии, обеспечивающей наше «право на жизнь» на чужой территории.

Деньги мы пропили. Пропили бесшабашно, буйно, вовсе не думая о завтрашнем дне.

Тогда же я заметил, что за нами следит шпик от «ПР».

Мы пили у моего знакомца в деревне Ла-О-Хан, у беглого семиреченского казака. Его припадочная жена жалась ко мне плечом. Она до крови искусила себе губу и, часто сплевывая окровавленную слону, страстно пела:

Ды-далико в странн иркуты-ский...

Я пил и все время прислушивался. Потом внезапно встал и выбежал в сени. От двери поспешно отскочил человек в кожаной куртке и в нагольных сапогах, прыгнул в хлев.

Я запер за ним тяжелую дверь на засов. Потом вернулся в избу и сказал казаку:

— Передний хлев ты, Артемий, деньги два не открывай.

Он понял и смолчал. И когда я сел, его жена достигла своего. Я не сопротивлялся, и она, лихорадочно вздрагивая, закатила глаза, облокотилась и забормотала:

— Не откроим, голыбъ, не откроо-им, — и опять запела:

...Ды-да-лико в стране ирку-тысский...

Утром, когда мы уезжали, в кровавом тумане всходило три солнца. Спиртовой градусник показывал — 43°. В тяжелой дохе мерзли ноги.

Там, в хлеву у Артемия, замерзал человек. Впрочем, он, может быть, уже замерз, когда мы уезжали. Мне несколько раз приходилось замерзать — ни с чем не сравнимые муки. Кажется, что кости высыпают тупым угловатым сверлом. Сначала в ногах, потом в бедрах. А когда на несколько минут немилосердно за-ноет нижняя челюсть, тогда в теле начнется огненный зуд. Теряешь сознание. Близок конец.

Выезжая, я подумал: «Ноет у него нижняя челюсть или еще нет?» Потом представился седой, покрытый инеем угол хлева.

Чужие муки меня давно уже не трогают.

Очень много сигнальных кнопок в кабинете у Воробьева.

По две, по три и даже по пять штук в коротеньких черных или коричневых брускочках, от которых тянутся в разные стороны тонкие зеленые жилки проводов. Я знаю, что это уловка.

Все это декорация, ставка на то, чтобы ошеломить посетителя таинственно-стью. И к чему эта огромная разноцветная ваза, похожая и на китайского дракона, и на русского петуха?

В углу, на диване, сидит английский морской офицер. Нас знакомит Воробьев. Я не разобрал фамилии офицера. Но я знаю: в этих учреждениях фамилии всегда называют так, чтоб никто их не слышал и не понял.

Воробьев говорит отрывисто: опять-таки хочет показать, что он ни одну лишнюю секунду не может пропустить даром.

— Садитесь.

Меня злит чопорность офицера и надутая официальность Воробьева. Я отвечаю грубо, на «ты»:

— Если ты спешишь, я уйду.

Воробьев смущен, исподтишка глянул на офицера. Англичанин притворяется, что не заметил.

О, выстуканная сухая подошва! С мучительным наслаждением я бы дал ему в морду. За что?

За все. За то, что я не в России, а в Китае, за то, что я не хочу сидеть тут и разговаривать с Воробьевым, а вот сижу и разговариваю.

Разговариваю при ненавистном свидетеле.

Воробьев нажимает одну за одной несколько кнопок. Никто, конечно, не вошел. Он сразу меняет тон и говорит так, будто бы он мне большой друг:

— Игнаша, нужен конный рейд... в Россию.

— Конный? — насмешливо спрашиваю я. — В Советский Союз?

Воробьев смущенно смотрит на англичанина, снова нажимает кнопки. Поднимает глаза на меня. Во взгляде ненависть и мольба. Он говорит мне глупую лесть, обращаясь к англичанину:

— Этот офицер принимал очень близкое участие в Мамонтовском рейде.

Англичанин хочет казаться презрительным, но я вижу его жадное и завистливое любопытство. Он топорщит губу — это глупое, ограниченное, всему миру наскучившее выпячивание нижней губы.

Я делаю три шага в сторону, вытягиваюсь перед Воробьевым и закрываю от

его глаз англичанина спиной.

Решил я в одно мгновение. Ненавистная мне самому черта в моем характере: все решать в одну секунду.

— Сколько предположено сабель? — почтительно и деловито спрашиваю я.

— Сто — сто двадцать, — отрезает Воробьев.

— Люди набраны?

— Да.

— Кто они?

— Как сказать?.. Больше офицеры... Люди, во всяком случае, убежденные и...

Я соглашаюсь только при одном условии: все сто двадцать я наберу сам.

Воробьев пожимает плечами и откидывается на спинку кресла, чтобы взглянуть на англичанина.

Я наклоняюсь вправо и вновь загораживаю офицера. Тогда Воробьев решительно говорит:

— Дело твое, Игнаша. Но... — Он снова пытается взглянуть на англичанина.

Снова я подвигаюсь вправо и перевожу разговор на другое:

— Мне нужно полтораста коней.

Воробьев опускает голову. Отвечает он не сразу.

— Лошадей, Игнаша, нет... Нету коней, Игнаша.

— Хорошо, — говорю я, — лошадей я пригоню. — И круто поворачиваюсь к англичанину. Он не успел принять позу, выражавшую пренебрежительную рассеянность.

Я говорю церемонно:

— Извините, сэр, я очень сожалею, но прошу вас удалиться. У нас предстоит военная беседа. Вы, как офицер, понимаете меня.

Он быстро вышел. Воробьев растерялся вконец и воскликнул тихо:

— Зачем ты?.. Ведь это...

— Могу вернуть... — намекающе срезаю я его.

Молчим. Я сажусь и говорю:

— Знаешь, Воробьев, какой случай: зимой к Артемию залез вор в сенцы. Я вышел, а он в хлев. Я его запер там, он и смерз начисто.

Воробьев не хуже меня знает печальную карьеру своего шпика. Он говорит мне:

— И сволочь ты, Багровский.

— Но и ты сволочь неплохая, — улыбаясь, отвечаю я.

От Воробьева я ушел затемно. Недалеко станция. Большая площадь перед вокзалом сплошь залита бледно-красными движущимися огоньками. Это фонарики на колясочках джени-рикши. Ни людей, ни колясочек не видно в темноте.

Огоньки похожи на паучков, бегающих на очень высоких, тоже невидимых ножках.

Прихожу на площадь. Меня окружают босые, рваные джени-рикши. Их худые лица почти неразличимы в полумраке.

Они наперебой предлагают себя в качестве лошади. Страшная конкуренция: я подхожу к одной из колясочек, мне кричит кто-то:

— Капитана, нет садися. Он нога ломайла,шибыка нету бегать.

Иду к другой — тот же голос:

— Нет садися, капитана, гылаза нету видеть. Мала-мала падай.

Я заметил кричащего и подошел к нему.

— Капитана, мадама хотит? Русска мадама, китайска, японьска. Шибыка красавый мадама.

Беру его. Он мчит меня. Я бесцельно смотрю на его мелькающие в полумраке голые икры и думаю о рейде.

Что мне дал Воробьев со своим англичанином? Ничего, кроме задания: проникнуть в пограничную область, деморализовать население, используя «антисплошноколхозные», как у нас говорят, настроения, поднять крестьянское восстание и направить их на разгром военных городков. Безотказно дают оружие, но венькое, с иголочки. Этим добром хоть завались.

Вот и все. Впрочем, не все. Еще кличу «Черный жук». Видите ли, какая у нас постановка дела: «по внутренним законам «ПР» каждый сотрудник носит кличку».

Мне давали людей. Людей, идущих по убеждению. К черту эту сволочь! Я наберу людей, идущих только «ради заработать». Вот «убеждение», выше которого ничего нет. Чем я не марксист-материалист? Не правда ли: материя, а не дух. Нажива, а не идеяность. Андрей-Фиалка этот вопрос решает так: «добудешь — возьмешь, убьют — помрешь».

Мою лично «идею» я знаю отлично.

Во-первых: я иду бороться за «право на леность». Овцы, которых мы угнали из совхоза, дали мне «право» ничего не делать в течение восьми месяцев, а главное, дали мне право грубить Воробьеву и — невыразимое наслаждение! — выгонять вон английского офицера.

Во-вторых: я хочу истязать Россию. Из-за ревности однажды острой плетью для гончих собак я бил любимую женщину.

Бил я ее редкими, «выбирающими» ударами. У нее началась рвота. Мне стало противно стегать ее дольше.

Так же хочу я истязать Россию.

Я ее люблю самой большой любовью и ревную самой страшной ревностью.

В одном из переулков джени внезапно остановился и упал передо мной на колени.

Я не понимал, в чем дело.

— Капитана... капитана... твоя говори: моя твоя фысегда вози... капитана, моя тибе деньги мала-мала давай... капитана. — Он сорвал с оглобельки коляски ящичек с деньгами, достал несколько монет и сует их мне.

Я понял: впереди шла орава китайских солдат. В большинстве плюгавые мальчишки-добровольцы. Они орали песню о том, что «родителей надо почитать, как почитают великих». Джени просил меня сказать им, что он мой постоянный слуга, иначе его ограбят и избьют.

Орава поравнялась с нами. Кто-то крикнул по-китайски:

— Остановись, ты, питающийся червями и падалью.

Джени, пользуясь моей защитой, смело закричал им:

— Я каждый день досыта ем. Меня кормит вот этот мой божественный господин, у которого я служу.

Несколько часов спустя за эту мою «услугу» джени избавил меня от больших неприятностей. Наверное, он спас мне жизнь.

Я сидел в заведении, куда привез меня джени, полупьяный, с маленькой,

похожей на ребенка японкой.

Я учил ее матерно ругаться по-русски. Она повторяла. Выходило у нее ужасно нелепо и смешно, так как по содержанию браны на нее падала роль мужчины. Я хотстал. Она сжимала кулачок и, смеясь, пыталась меня ударить. Я ловил ее кулачок и запихивал себе в рот до самой кисти.

Неслышно, как тень, ко мне скользнул мой джени.

— Капитана, — торопливо зашептал он, — моя тибя вези скоро, скоро... Твоя кради буди...

Я потребовал, чтоб он сказал по-китайски. Оказалось, он пронюхал откуда-то — о, эти джени, кажется, они все разнюхают! — что меня хотят «украсть» и что уж приготовлен зеленый закрытый автомобиль.

Я не понял, кто именно хочет меня «украсть». Но сам я несколько раз «воровал» людей по заданиям Воробьева. Это страшно просто: приходишь под видом правительенного лица, вежливо зовешь для сверки паспорта, а в закрытом авто наставляешь дуло браунинга и говоришь:

— Вы, конечно, понимаете, что выстрел и звук газующей машины различить невозможно. — Вот и все.

Я быстро скрылся. Джени повез меня галопом. Я видел: когда мы сворачивали из переулка, к заведению подъехал закрытый зеленый авто.

Джени отвез меня к Андрею-Фиалке и не хотел брать денег.

— Твоя, капитана, шибыко хороос. Шанго шибыко, твоя русски шанго.

Я говорю ему озорно:

— Я самый настоящий русский, большевик.

— Большевик? Капитана, моя зовут Люи Сан-фан, тибе шибыко шанго, капитана.

Люи Сан-фан в переводе на русский язык означает «большое душистое дерево». Я называю его по-своему:

— Вонючая Стоеросовая Дубина, я такой аграмаднейший большевик. Понял, Дубина Стоеросовая Вонючая?

Он ухмыляется и делает вид, что поверил мне.

— Хе-хе, — смеется он.

— Хочешь поехать со мной в Россию? — спрашиваю я.

Он по-прежнему ухмыляется и так же смеется:

— Хе-хе...

Андрей-Фиалка ожила. Радует ли его нажива, или же страшная душа его тоскует о вишневых садах, ради которых он всегда готов идти куда угодно и чего-то искать. Его страшно забавляет то обстоятельство, что мы поедем под видом красноармейского отряда по китайскому Трехречью. Для этого мы будем двигаться с русской стороны и представлять «большевистский» отряд, «нагло ворвавшийся на чужую территорию», грабить и жечь мирное население, то есть учинять те самые «большевистские зверства», о которых будут кричать газеты всего мира: вот, дескать, какова практика большевистской проповеди о том, чтоб перековать мечи на плуги и учинить на земле мир.

Потом в Трехречье мы должны «сгинуть», под абсолютным секретом уйти на восток и уж здесь перейти границу.

Вчера я согласовал с Воробьевым проект структуры отряда. Не потому, конечно, что от меня этого требовали, а потому, что самому мне хотелось щеголь-

нуть своим «военным талантом». Сто человек я разбил на двадцать пятерок. Каждая пятерка знает только свою обязанность: пятерка кашеваров, пятерка коноводов, пятерка поджигателей и т. д.

В отряде будет четыре томсона, четыре этих окаймленных ручных пулемета, выпускающих по 875 кольтовских пуль в минуту.

Пулеметы будут: у меня, у Андрея, у дяди Паши Алаверды, на четвертый я отыщу тоже «абсолютно верного». Наверно, Артемия. В случае бунта мы в одну минуту уничтожим весь отряд.

Сегодня я работаю над картой. На столе у меня, справа, — молоко, сыр, масло и бутылка с коньяком. Я выпиваю коньяк с молоком и без хлеба ем сыр, густо намазанный маслом. Это мой «божественный нектар». Ничто так сильно не возбуждает мой мозг, как эта странная смесь.

На дворе у нас стоит грузовик, присланный специально для того, чтобы своей газовкой глушить учебную стрельбу из томсонов.

Цыган стреляет с поразительной меткостью. Он еще ничего не знает о рейде, но готовиться ему велел Андрей. Они приходят ко мне. Цыган приносит мишень. Мишень у него разбита в щепки и похожа на лучистую звезду.

— Вот машинка, вот машинка! — восторженно кричит он.

Андрей-Фиалка сконфужен: он стреляет из рук вон скверно.

Он садится закурить, но внезапно мрачнеет, не закурив, снова поднимается, подходит к сундучку и вынимает оттуда свой «гвоздик» — так он называет прямой германский тесак.

Дядя Паша Алаверды мгновенно бледнеет: роняет раздробленную мишень и вылетает вон из комнаты.

Андрей-Фиалка мрачно смотрит ему вслед и через минуту мычит:

— А и дура-мама. А и дура.

Вернулся Артемий. Я его посыпал «пошукать». Он переходил границу и теперь докладывает:

— Кони, я прямо скажу, отменные. Селезни, прямо скажу, а не кони. У Монголии скрупают, и все под казенным тавром.

Он приехал с женой. Здесь она держится со мной робко. Кажется, будто ей не верится, что это она была там, у себя дома, так близка со мной и ластилась ко мне в своей наглой страсти.

Артемий отвечает мне:

— Охрана?.. Что — охрана? Охрана, она и есть охрана. Я прямо скажу: хреновая охрана.

Она очень низко и покорно кланяется и вторит ему торопливым шепотом:

— Никакой охраны... никакой... — Ей хочется сказать больше, но она робеет и умолкает.

Здесь, в городе, она какая-то жалкая и холодная. Я хочу узнать, не была ли и она уж с Артемием, но вспоминаю о кутеже с ней. Мне становится противно от того, что в пьяном буйстве ласкал ее, кусал ее горячее, до липкого влажное тело, и она с тихим стоном покорно переносила это и ждала.

Я отхожу к столу и говорю:

— Хорошо, Артемий, готовься. — Потом нагибаюсь над «Правдой» и синим карандашом обвожу сообщение о беспорядках на Китайско-Восточной железной дороге.

Оба бесшумно уходят. Я слышу, как они шепчутся за дверью. Меня раздражает их шепот, а главное то, что они так долго не уходят.

Потом полураскрылась дверь, и Артемий спросил:

— Ходок прикажете или верхами?

— Ходок! — почти кричу я, не глядя на него, и опять бесцельно обвожу вдоль синей черты новую, красную.

— Ходок, ходок! Я прямо скажу — ходок обстоятельней.

Когда он закрывал двери, я поднял голову. Через плечо Артемия смотрела Маринка. Взглядом благодарила меня. Я понял, что Артемий не хотел ехать на полке, но настояла она и теперь увяжется с нами.

Нервничая, я в третий раз очерчиваю в «Правде» заметку о беспорядках на «К.В.Ж.Д.»

Сегодня и в наших газетах — а впрочем, где мои газеты: там, в России, или здесь? — появились заметки о большевистских бесчинствах на «К.В.Ж.Д.».

Кому же верит читатель? «Правде» или нашим газетам? Сообщения в «Правде» носят характер спокойной уверенности. Наши газеты выдают себя чрезмерным криком «караул».

А может быть, мне так кажется потому, что я знаю, где фальшив.

Иностранные газеты молчат. Немудрено. Большеевики научили их некоторой осторожности.

Эти Тришки в чужих кафтанах ждут чьего-то знака. Потом завоюют хором: «Вот подлинная маска большевистского миролюбия».

Меня часто тревожит безумная идея: миру нужен Батый. Нужно, чтобы Батый повел дикие полчища на Европу и сжег бы города. Тогда люди начнут новую культуру, новый «золотой век».

Какой он будет, этот «новый век» — все равно. Но миру нужны огонь и кровь, иначе люди задушат друг друга своей мудростью. Почем я знаю, что сейчас где-нибудь в Англии или во Франции не изобретен удущливый газ, пахнущий розами или ландышами? И кто уверит меня, что сейчас я не услышу вдруг этот сладкий, нежный запах смерти?

Тем более что сейчас миром управляют «две кнопки», смертельно ненавидящие друг друга. Одна кнопка в Москве, а другая «где-то».

Порой эта идея так мучает меня, что я мысленно восклицаю: «Где есть эти дикие, всесокрушающие орды?»

И отвечаю себе: «Их нет». Люди везде поклоняются лести и исповедуют торговый обман. Это они называют «культурой». И тогда в бессилии я низвожу мою большую, страшную идею до маленькой, и горделивый гнев удесятеряет мои силы: это лучшие минуты, в которые я предугадываю все «возможности рейда» в Россию.

Вчера получили телеграмму от Артемия. Вчера же туда уехали Андрей-Фиалка и дядя Паша Алаверды.

А сегодня, когда я вышел из дома, чтобы ехать на станцию, ко мне подкатил Люи Сан-фан.

Он, видимо, несколько часов ждал меня у дома. Беспрестанно улыбаясь и скаля свои кривые белые зубы в улыбке — поразительно однообразной, не изменяющей тоскливого выражения лица, — он подошел ко мне и сунул в руки белую, слоновой кости, расческу в блестящем, разноцветном и очень дорогом футляре.